# МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

## Е.Н.Орлова, М.О.Гершензон. Дом № 13

О нашем доме в Плотниковом (бывшем Никольском) переулке, о его появлении на свет невозможно рассказывать, минуя личность его "строительницы" Е.Н.Орловой, тем более, что ее я не только застал, но и сохранил о ней ряд впечатлений, которыми поделюсь в дальнейшем. Невозможно обойти и М.О.Гершензона - "почетного" обитателя этого дома: удобства жизни его и его семьи в значительной мере были положены в основу планировки строения. Хотя самого М.О.Гершензона я уже не застал, но зато с семьей его у меня связаны одни из самых ярких детских воспоминаний.

Елизавета Николаевна Орлова - владелица дома, в котором я провел около 30-ти, а мама около 40-ка лет жизни, - была человеком очень незаурядным. Пра-правнучка М.В.Ломоносова (мать ее Ольга Павловна Орлова до революции еще была жива), она, несмотря на аристократическую "орловскую" ветвь своего рода, возможно, именно от своего великого прапрадеда унаследовала страсть к культуре и просвещению; при этом аристократические манеры, ~~своего рода~~ "бонтонность" сочетались у нее со многими демократическими устремлениями в духе начала века. Не знаю, были ли у нее муж и собственные дети, но уже в самые первые годы XX века она организовала что-то вроде пансиона - группу отобранных ею и с необыкновенной заботливостью воспитываемых девочек-сироток, с которыми она жила и в Москве, и выезжала на летний отдых. Значительные капиталы, которыми она обладала, помогали ей давать своим воспитанницам (для которых она

всегда была просто "Лили") отменное воспитание. Главное же, доброта ее - это вспоминали уже в 30-х годах все бывшие ее питомицы, жившие, как правило, поблизости, - была поистине безграничной.

Не знаю, как именно познакомилась Е.Н.Орлова с М.О.Гершензоном, но судя по тому, что она поселила его в своих пенатах - сперва в деревянном флигельке, а затем и новом большом, каменном доме, судя по тому, каким простором и удобствами старалась окружить его и всю его семью, - уважение ее к нему и его трудам было безграничным. Да, это была меценатка (в отношении крупного ученого) и благотворительница (по отношению к "своим" девочкам) в самом высоком, благородном, бескорыстном смысле слова.

Надо сказать, что к тому времени М.О.Гершензон был не только плодовитым писателем-литературоведом, писателем-философом, в последнее время выпускавшим примерно по книге в год. Дом его стал своеобразным центром, вокруг которого группировались до революции выдающиеся представители интеллигенции того времени. Обо всем этом я узнавал потом лишь мельком со слов мамы, и Чегодаевых, немедленно забывая незнакомые имена людей, часто бывавших в доме, где я жил с рождения. Но вот недавно попались мне тетрадки воспоминаний дочери Михаила Осиповича Наталии Михайловны, относящиеся к началу 50-х годов, где (правда, тоже по детским впечатлениям) названы некоторые имена и события, особенно же ярко запечатлен облик отца ее, самого любимого ею человека. Тетради эти рукописные, и моя приятельница с детских лет Маша уверяет, что боится выпустить их из рук, а тем более вынести из дома, а самой перепечатать вроде бы недосуг. Но, зная всю причудливость судьбы рукописей, особенно тех, над коими уж очень дрожат (вроде начисто исчезнувших архива моего отца и ~~последнего~~ третьего тома монографии о Пушкине - неразлучного спутника последних 20-ти лет его жизни), я решил для гарантии сделать

кое-какие
~~некоторые~~ выписки из этой рукописи, тем более, что они имеют если не прямое, то косвенное отношение и к моей жизни - пусть лишь через общение с людьми, ~~только~~ знавшими тех людей.

Вот несколько отрывков о самом Михаиле Осиповиче. "Если я постараюсь проникнуть памятью в самые истоки своего существования, то я больше всего в первые сознательные мгновения вспоминаю - папу.
Не маму, не брата Сережу, не игрушки, а папу.
Должно быть, величие его личности, яркость индивидуальности ощущалась крошечным существом, только вступающим в жизнь, сильнее всего. "Папа" было первым моим словом, а с его концом ушла богатейшая, самая мудрая и подлинная часть жизни, оставив зияющую пустоту, незаполнившуюся никогда. В раннем нашем детстве он значительно больше любил Сережу, чем меня, и гораздо больше проводил с ним времени. Но никак, ни на единую долю секунды это не казалось мне обидным, не кольнуло моих чувств. Раз он так считает, значит, так оно и есть, ни рассуждать, ни обдумывать здесь было нечего... И так было всегда до самого дня его смерти. А потом годы подряд мне снилось, что он вернулся, и я тороплюсь ему рассказать все, что произошло без него. И странным образом он, такой сильный и волевой, всегда снился мне и снится теперь (только уже очень редко) маленьким, жалким, беспомощным, таким, которого надо жалеть и ласкать, как ребенка. Должно быть, его душа всегда была такой, но этого никто не знал и не видел за оболочкой его тела и разума".

Другой отрывок, покороче: "Как передать любовь моего отца и ту удивительную, никогда больше не встреченную в жизни мудрость, которая была в нем заключена и которая держала меня в своих крепких объятиях первые 17 лет моей жизни? Как передать звук его шагов, контуры его сутуловатой спины, неповторимую прелесть и значительность интонаций его голоса, для меня звучавших непререкаемой силой закона,

красоту его широкой мужской руки, очень выпуклых черных глаз?".

И, наконец, последний отрывок, выдержанный в жанре не столько портрета, сколько натюрморта. "Папа отличался удивительной, почти педантической аккуратностью. К вещам у него было свое особое отношение. Он любил только очень простые предметы, к которым он привыкал, и с ними ему было уютно. Лучшие, более дорогие вещи- письменный стол из карельской березы с двумя тумбами ящиков, красивая чернильница и подсвечники, венские стулья и т.п. были сосланы из кабинета в другую комнату наверху - библиотеку... На его письменном столе стояла чернильница с двумя стеклянными пузырьками, из которых он никогда не писал, а прямо из покупной баночки, лампа с зеленым стеклянным абажуром, маленький деревянный ящичек-бюварчик. Рядом с рукописями всегда лежала подрубленная белая тряпочка. На столе постоянно жили еще кое-какие предметы - пробка от рыбачьих сетей с вырезанной на ней буквой "К", один-два морских камня, простой желтенький пенал. Папин кабинет имел особый запах, главным образом застарелого, вечного курения. Этот запах до сих пор безгранично волнует меня".

" В 1913-1917 гг. - вспоминает Наталия Михайловна, - у нас в доме особенно часто бывали Л.И.Шестов, В.И.Иванов, А.Белый, А.Ремизов, философы Л.Шпет, Франк, Эрн, Н.Бердяев, Д.Н.Жуковский, юрист Б.А.Кистяковский, историк Д.М.Петрушевский, пушкинист М.А.Цявловский, поэты Ю.Н.Верховский, В.Ходасевич, издатель М.В.Сабашников". Поскольку и Наташа, и брат ее Сережа были совсем маленькими, а наиболее интересные гости являлись в поздние вечерние часы, то дети в ночных рубашках бегали подслушивать так интриговавшие их разговоры, доносившиеся из столовой, слушали чтение А.Белого, "потрясавшее своей непонятностью, его поразительный голос, то интенсивный и звучный, то глухой и переходящий почти на шепот, после чего

он внезапно вскрикивал: "Я - есть Я!" Вспоминает маленькая Наташа и "звуки громких споров, доходящих до криков (особенно кричал Бердяев), страдные вопли Цявловского, который в азарте спора о Пушкине вскакивал с места и бегал по столовой"; описывает и внешность Ф.Соллогуба-" полного, с большим мясистым лицом, с крупной бородавкой, на которую я неизменно смотрела", и Б.А.Кистяковского, "очень нравившегося благородством своего внешнего облика и изящным спокойствием манеры держаться", и особенно приводивший ее в ужас уродливый тик, которым страдал Бердяев: "время от времени его лицо начинало уродливо дергаться, причем язык выскакивал наружу".

О постройке нашего дома я по тем же запискам Н.М.Гершензон располагаю совершенно точными данными. Каменный, трехэтажный, он начал строиться Елизаветой Николаевной Орловой в 1912 г. по проекту архитектора Иванова-Шиц. Строился он очень быстро и к осени следующего года стоял внешне уже готовым, хотя еще в лесах и не оштукатуренный. Одновременно старый деревянный флигель, где раньше жили Гершензоны, был продан на своз, и его сменил небольшой кирпичный домик-сторожка для дворника и истопника. Известна даже сумма, которую дала Ольга Павловна Орлова дочери для постройки дома - 90 тысяч рублей, не одобряя, впрочем, демократических взглядов дочери, заботившейся вовсе не об умножении состояния, сдачи помещений, а исключительно о своих девочках-пансионерках, а также об удобствах Михаила Осиповича Гершензона и его семьи (им фактически была отдана чуть не половина нового здания).

А вот как описывает Наталия Михайловна большой помещичий двор старой Москвы, где, как уже говорилось, сперва имелись только два розовых флигеля (один деревянный, другой большой двухэтаж-

ный), на которых видны были следы копоти, как говорили, от пожара 1812 года: "Длинный, уходящий далеко вглубь двор покрывал мягкий ковер зеленой душистой ромашки; заканчивался он рядом сараев-конюшен, в одном из которых в самые ранние годы жили две коровы. Другую часть участка занимал чудесный тенистый и запущенный фруктовый сад. В его глубине находился назавшийся таинственным гипсовый бюст Зевса". И еще: "Как закрепить запах сырой земли в дальнем, немного жутком конце сада и запах гиацинтов, которые там росли прямо в грунте?" Было это еще в последние годы перед Октябрьем, [illegible] и потребовалось до смешного немного лет, чтобы не осталось не только гиацинтов и яблонь, но и ромашек и даже громадного осенявшего дом ясеня. Объясняется, видимо, все просто: и ясень, и яблоневый сад пошли на дрова, в Зевсе было заподозрено что-то явно буржуазное, если не контрреволюционное, а гиацинты и другие цветы... да много ли им нужно - кто-то оборвал, кто-то истоптал, тем более, что эти "кто-то" сразу же появились-словно тараканы из щелей повылезли - в невиданном ранее числе. "Когда мне приходится проходить по унылому пустырю на месте прежнего волшебно прекрасного сада под окнами наших комнат, - пишет Н.М.Гершензон, - я иногда замедляю шаги, и передо мной, словно галлюцинация, возникают смутные тени деревьев - яблонь и груш, сирени и жасмина, моего любимого ясеня, который стоял прямо за окном и которому я в летние ночи так часто поверяла свои юношеские чувства. Я вижу высокую траву, усеянную желтыми головками одуванчиков, и из-за стволов передо мной возникает полная фигура Лили (Елизаветы Николаевны) в полосатом полотняном фартуке с лейкой и лопатой в руках". Да, немного времени нужно было, чтобы осуществились вещие слова, обещающие разрушить до основания старый мир: дело-то это нехитрое. Сложнее построить мир новый. До появления нового ландшафта, на месте яблонь, груш и гиацинтов - кирпичных коробок

не слишком понятного назначения, но, говорят, как-то связанных электронными устройствами с Министерством иностранных дел, торчащим на Смоленской площади, - прошло более полувека. Более полувека красовался перед домом № I3 грязный истоптанный пустырь, а когда собрались использовать его под строительство зданий "города будущего", то заодно "до основания" срыли и все окружающие дома, в том числе и хранящие копоть от войны I8I2; дольше других держался мой родной дом, наш дом - как ни как стоял он в глубине двора, никому вроде бы не мешал и был на редкость прочной постройки (в 30-х годах его надстроили еще двумя этажами). Но, видимо, мешал, не удержался: совсем недавно проходя мимо этих мест, я уже решительно не мог ничего узнать, ибо, наконец, полностью реализовалась голубая мечта о разрушении до основания и этого дома, видимо, бывшего центром когда-то одного из поэтичнейших уголков старой Москвы.

И вот диву даешься: как людям, любовно проектировавшим дом, насаждавшим сад, можно было пережить такое. Читаешь Чехова, Бунина, Куприна и до того начинаешь любить старую Москву, такой нежностью к ней проникаешься, что безумно жаль даже невиданного самим тобою прошлого (впрочем, в том и сила искусства, что такие рисуемые писателем картины и сцены оказываются сильнее, реальнее, если хотите, самой действительности). Но каково это было переживать "Лили", на склоне лет ютящейся в крохотной каморке своего большого каменного дома, видящей в окно только грязные пыльные бугры на месте фруктового сада. Как смотреть на черную лестницу, всю заваленную книгами, что когда-то входили в роскошную библиотеку (между прочим, и издания ХУШ века), а теперь, видимо, просто швырялись с верхнего этажа, чтобы быть отвезенными на свалку, - места-то не было, а какой библиотеке нужен был тогда ХУШ век (ведь не уникумы). Несколько десятков их все же подобрала мама, и сейчас они красуются на почетном месте в нашей

квартире. Ничего. Пережила. И сохранила все свое достоинство, силу и даже, насколько я могу вспомнить, доброту и внутренний оптимизм.

## Арбат и "приарбатье"

Недавно зазвали меня на Арбат, почему-то приобретший теперь кличку "Старый", хотя "Нового"-то нет, - а есть лишь символ крайней степени уродства, несуразности и - простите грубое слово - идиотизма: пресловутый проспект Калинина. Сам бы я, пожалуй, не пошел на ту улицу, где столько раз чуть ли не ежедневно топал своими маленькими ножонками и которая теперь тоже не уступает - правда, несколько в ином роде - Калининскому проспекту, улицу, должную восхищать якобы напоминанием о старине современных мещан, которым несть числа, на самом же деле образцовую по безвкусице, фальши, отсутствию элементарного эстетического чутья. Да, думая ~~вспоминая~~ об обоих этих рядом расположенных, прекрасно дополняющих друг друга по контрасту чудовищах, как-то сразу вспоминаешь, что появились они в эпоху, когда главным льстящим самолюбию все тех же мещан словом и стало определение "престижный" - увы, без всяких кавычек.

Но довольно ругани и брюзжания и - прочь с дороги добрые 4-5 десятков лет, здравствуй, просто Арбат, добрый старый московский Арбат!

В годы, с которых я помню эту такую родную мне улицу, Арбат был шумным и людным, - во всяком случае, в сравнении с впадающими в него, как ручьи в реку, переулками: Денежным, Плотниковым, Калошиным, Старо-конюшенным, Афанасьевским (упоминаю лишь те, что расположены по правому его "берегу", если двигаться к центру, т.к. именно с

ними связаны были мои детские прогулки). Гремели трамваи, сновали без всяких специальных переходов пешеходы, а порою еще цокали и лошадиные копыта: впрочем, более отчетливо вспоминаю висевшие на проволоке железные круги с изображением лошадиной головы и означавшие как раз запрет такого цоканья - видимо, уже где-то в самом начале тридцатых годов Арбат был признан улицей слишком цивилизованной для подобного вида транспорта. А вот трамваи гремели еще долго, лишь где-то в году тридцать шестом уступив место троллейбусам, - именно по Арбату была проложена чуть ли не первая его линия; впрочем, видимо, первая была на ул.Горького: недаром до сих пор там ходит троллейбус № I, а пущенный по Арбату имел в то время и долгие годы спустя номер 2. Хорошо помню ожидание первого такого троллейбуса; в это воскресное утро улица была почти безлюдной, троллейбусы же ходили раз в 15 минут, так что ждать пришлось долго. Зато развеян был миф о каком-то совершенно фантастическом их виде.

Как и сейчас, Арбат соединял две площади - Смоленскую и Арбатскую. Но тогда это были действительно площади: Смоленская знаменовала собой рубеж между Смоленским и Новинским бульварами, Арбатская прерывала малое бульварное кольцо - Гоголевский бульвар с одной стороны, Никитский с другой. Сейчас же если Смоленская с горем пополам и может сойти за площадь, хотя ее означают главным образом два симметрично расположенные здания, удивительно похожие на гигантские динамики стереофонической аппаратуры, как бы обрамляющие начало просторного спуска к Бородинскому мосту, то Арбатская площадь - понятие чисто номинальное: не стоит тратить и бумаги на описание того, во что превратили ее гениальные проектировщики "новой" столицы.

Две площади - два рынка с названиями, соответствующими обеим из них; существование этих рынков по краям Арбатской улицы также придавало ей какую-то особую законченность. Смоленского рынка я почти не помню, Арбатский продержался дольше, чуть ли не до открытия метро, и путешествия туда с Анютой хорошо мне памятны, особенно по обилию всяких завлекательных для ребенка товаров: пестрых глиняных и деревянных игрушек, леденцовых петушков и т.п. Очень нравилась мне и форма этого рынка - один, а может и несколько стеклянных полуцилиндров, наполненных не только всевозможными товарами, но и (что мне особенно нравилось) неисчислимыми звуками базарного шума и гула.

Весь Арбат был улицей торговой, идея чего и легла в основу его нынешнего "возрождения". Да, собственно, в этом плане возрождать-то нечего: всегда первые этажы домов, как и ныне, занимали магазины. Но сколько же раз менялась их специализация: булочная становилась канцтоварами, "Книги" - "Головными уборами" и т.д. до бесконечности. Похоже, что каждый новый "куратор" торговых точек начинал с того, что по-новому раскладывал старый пасьянс из доставшихся ему карт, перенося магазин обуви в фотоателье, а фотоателье в ту же самую "Обувь". Почему, зачем? Аллах их ведает; видимо, сразу же надо было проявить инициативу, а что может быть нагляднее таких преобразований?

Из всего разнообразия магазинов больше всего в мои первые годы привлекали меня "Канцтовары" (название "Культтовары" появилось позднее и долгое время понималось мною как товары, привозимые в кулях). Да, это был самый лакомый магазин, лакомый даже потому, что был очень тесным и грязным, всего с одним продавцом, кажется, получавшим от покупателей и деньги за проданные товары. Тесный закуток этот вспоминается мне сейчас похожим даже не на государственную

"торговую точку", а какую-то частную лавочку. А с чем сравнить царствовавший там совершенно особый запах - смесь клея, красок, лака и не знаю уж там чего? Хотя и назывался этот магазин "канцелярским", но товары в нем были весьма разнообразны - вплоть до акварельных красок. Кстати, до чего же живуче до сих пор это слово-название -"канцелярский": "скрепка канцелярская" (почему-то всегда в единственном числе!), "клей канцелярский", "папка канцелярская" - прямо скажем, в жизни понятие это встречается куда реже, чем во всех подобных наименованиях, почему-то ~~нельзя~~ напоминающих о старорежимных учреждениях - департаментах, что ли, где, судя по русской литературе, и вправду были чуть ли не одни канцелярии. Впрочем, возможно, как раз в то время начала 30-х годов словом "канцелярия" пользовались гораздо чаще, чем теперь. Если же попытаться установить, так сказать, цветовой его символ ("канцелярщины" тех лет), то цвет этот, без сомнения, оказался бы лиловым. Лиловыми-и только такими - были чернила, в лиловую краску превращались послюнявленные химические карандаши, по лиловому шрифту сразу легко теперь определить принадлежность к тому времени машинописных текстов - лиловыми были и ленты, и копирки пищущих машинок, на документах ставились непременно лиловые печати, и даже наборы игрушечных "печаток", например, с изображением разных зверюшек, продавались вместе с подушечками, непременно пропитанными все той же "канцелярской" ядовито-лиловой краской. Кажется мне сейчас, что и профодежда продавца "Канцтоваров", какого-то необыкновенно помятого старичка в какой-то страшно поношенном халатишке, тоже была лилового цвета или, во всяком случае, сплошь перемазанная именно лиловой краской....

Следующим по притягательности для меня арбатским магазином была "Военная книга". Помещалось это просторное торговое заведение в середине Арбата, в одном из редких для этой улицы одноэтажных до-

мов, разместившись во всю его длину - что-то четыре или пять окон (потом долгое время там находился антикварный магазин, а теперь уж и не знаю, что еще). Не сами книги, конечно, могли привлекать четырех-пятилетнего мальчугана. Нет, кроме прилавков, была там еще масса обширных ящиков с плакатами - то, что сейчас принято называть "наглядной агитацией". Выдвинешь один из таких ящиков- и перед тобой в энном количестве экземпляров бравый красноармеец с винтовкой и соответствующим текстом, ~~допустим~~ например: "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути", - легко допускаю, что и изображению бронепоезда тоже находилось место; выдвинешь другой ящик, а там рабочий и колхозница, дружно взявшиеся за руки и поднявшие их до самого неба, где лучится солнечный диск и летают дирижабли и аэропланы, - и тоже соответствующая надпись-девиз. В "Военной книге" подобные плакаты были в большом ассортименте, и как же я был счастлив, когда вдруг обнаруживал, что к ним присоединялась особенно толстая (скажем, к годовщине комсомола или введения значков ГТО или МОПР) пачка новых, еще не виданных ранее, и как разочарован, если всё те же, уже давно знакомые, оказывались на прежних, привычнах местах! Впрочем, свое увлечение плакатами я, может быть, поясню в другом очерке, а теперь постараюсь вспомнить, какой же еще магазин заслуживал в то время особую мою благосклонность. Естественно предположить, что это был "Детский мир". Но появился-то он ~~уже~~ позднее, когда я, видимо, уже не считал себя потребителем детских товаров - сама вывеска была оскорбительной для человека, которому исполнилось - подумать только! - ~~уже~~ восемь лет (кажется, примерно так). Зато с самого раннего возраста обожал я магазин, где продавалось... мыло. Странно? Но, поверьте, на то были веские основания, ибо мыло-то было не простое, а фигурное: одно изображало слона, другое белку; были тут и

рыбы, и лягушки, и много всякой другой живности. Кстати, вот еще пример, как хорошие выдумки (а ведь как нравилось детям умываться таким мылом ~~детям~~!) почему-то забываются, а раз найденное, и найденное очень удачно, бесследно потом исчезает. Правда, в условиях нашей коммунальной квартиры не сладко приходилось подобному мыльному зверинцу: в ванной комнате, где, естественно, и оставляли мыло, не переводились уже вполне всамделишные крысы, и утром то и дело обнаруживалась то отъеденная у медведя голова, то огромная дыра, прогрызенная в панцыре черепахи.

Немало было магазинов и в арбатских переулках - в одном нашем Плотниковом не меньше трех. Но тут уже не я затаскивал в них Анюту, а Анюта меня, да и воспоминания о них относятся к самым ранним годам. Магазины были продовольственные, и гулянье со мной неизбежно совмещалось с их посещением, дабы на столе мог к шести часам (время возвращения с работы мамы) появиться обед. Долго и нудно приходилось мне с санками ждать Анюту у скрипучих, грохочущих дверей, двери которые постоянно хлопали, впуская и выпуская клубы пахучего пара и таких же простых женщин в платках в валенках с галошами, как Анюта. Часто я не выдерживал и заходил в них сам. Там обдавало теплом, смешанным с разными запахами, особенно в овощном или мясо-молочном.

В бакалее мне очень нравились образцы разных круп и макаронных изделий, насыпанных в особой формы стеклянные банки и украшавших фасад прилавка. А как любопытно было смотреть на маневрирование продавцом черными тяжелыми гирями - весы тогда еще были с двумя рычагами, концы которых в форме птичьих голов долго кивали друг другу, прежде чем встретиться клювами.

- Ну, чего тебе?- почти свирепо встречает меня Анюта.- А как санки украдут,гляди, уже украли. Ну стой тогда, стой вот за этой гражданкой, а я погляжу-посмотрю, целы ли.

И вот уже приволокла Анюта в магазин гремучие санки и поставила их у дверей. Кажется, очередь совсем не движется. С ненавистью смотрю я на какую-то бабу в пегом платке, набравшую уже несколько кульков, но все еще продолжающую называть то-то и то-то.

Бывало и так, что, ненадолго войдя в магазин, Анюта сердитая выходила обратно со словами:

- Народу-то, народу - как сельдей в бочке!

Или:

- На прилавках хоть шаром покати!

Или еще:

- Картошка только за два пятьдесят- ну просто обираловка да и только!

В первом случае она часто занимала очередь, и мы с санками ехали дальше, в другой магазин. Иногда, купивши в одном хлеба, в другом картошки, в третьем мяса, вдруг вспоминала:

- Вот куриная голова, ведь за маслом очередь, должно быть, давно прошла! - и мы вновь поспешали в самый первый магазин.

По пути встречался нам нередко стеколщик со своим ящиком на плече, наполненным поблескивающими бутылочно-зелеными срезами стеклами. Время от времени он протяжным голосом взывал: "Стекла вставляю, кому стекла вставлять!" Но как-то не помню, чтобы кто-нибудь откликнулся на его призывы, и от этого становилось мне его очень жалко, тем более, что таскать стекла - нелегкая работа.

Зато всегда был при деле точильщик, неизменно стоявший

на углу Плотникова переулка и Сивцева-Вражка, у которого, кажется, нога срослась с большим, непрерывно крутящимся колесом, а от визжавшего на громадной скорости точильного камня во все стороны рассыпались огненные брызги. А из дворов доносились крики старьевщиков, их неизменное "Старье берем!". Слова эти разобрать было крайне трудно, да и не нужны они были вовсе: смысл яснее ясного выражался самой интонацией, передаваемой из поколения в поколение людьми этой профессии. И никогда не спутать ее еще с одним родом зазываний, где понять можно было лишь одно слово "починяем", да "Дешево", весь же ассортимент услуг, произносясь почти скороговоркой, оставался лишь подразумеваемым; но какая же хозяйка не знала своей нуждающейся в починке нехитрой домашней утвари, где не было ни стиральных машин, ни холодильников, а пределом хитрости человеческого разума оказывались какая-нибудь керосинка или примус? Кроме починки, теми же бродячими мастерами предлагались нередко и еще какие-то добрые дела. Но суть их уже вовсе нельзя было понять, кроме разве слова "дешево", и, может быть, эта-то интригующая загадочность и достигала цели: из окон высовывалось сразу по несколько от голов, оповещающих о приглашении туда-то и туда-то.

Из всех "анютиных" магазинов больше всего я любил посещение керосиновой лавки, что находилась в самом начале Гагаринского переулка, если входить в него со стороны нашего Плотникова. Вот это было наслаждение! Сразу же при входе едко-острой волной обдавал запах, пропитавший решительно все: прилавок, пол, стены, потолок. Сам воздух этого крохотного помещения, казалось, полиловел, утратил прозрачность от насыщавших его едких паров. Да и вправду, в такой концентрации запах воспринимался уже не как запах, а как то, что имеет плотность, может быть, даже вес. А чего стоили медные черпаки на

длинных ручках (в самой длинной было, наверное, метра полтора), с которыми ловко управлялись какие-то темные, виднеющиеся почти только силуэтами люди. Или всех размеров воронки, которые те же люди, точнее, силуэты людей, вставляли в грохучущие о прилавок бачки покупателей. Очередь тут двигалась быстро: гремели бидоны, скрежетали воронки, с мрачным плеском наполнялись опускаемые в огромные баки ковши и с таким же плеском опустошались, чтобы через секунду наполниться снова темной, зловеще поблескивающей жидкостью. Напоминала эта картина какую-то мистерию, а люди с ковшами казались, ни дать ни взять, чертями, орудующими в своей преисподней. Только иногда скрежет и плеск нарушались короткими и, как казалось, тоже зловещими вопросами "чертей":

- Сколько?

- Сколько войдет, батюшка, - робко отвечала какая-нибудь старушенция.

Видимо, не одному мне запомнилась эта лавчонка. Мог бы дать голову на отсечение, что именно ее упомянул М.Булгаков во второй части "Мастера", там, где Маргарита [illegible] начинает свой полет. Конечно, это -только упоминание, да и летит-то героиня вроде бы с Собачьей площадки. Но уж такой великий шутник этот Булгаков: возьмет да и спутает "географию", когда уже кажется - все маршруты яснее ясного, только экскурсии по ним води! Только упомянул Булгаков керосиновую лавчонку, а уже невозможно спутать ее тому, кто провел те же тридцатые годы в арбатских переулках. И, возможно, "ключ" здесь именно в "адском" колорите этого заведения, близости его инфернальным страницам самого гениального романа нашего века, сильно одряхлевшего, но который все еще разбирает "сварливый старческий задор"...

И еще маленький пост-скриптум. Вот я пенял на пристрастие руководителей торговой сети менять назначение магазинов, вроде без всякой к тому надобности, кроме показного проявления инициативы, в результате чего десятки раз меняли профиль торговые точки на Арбате. А вот о керосиновой лавке в Гагаринском этого не скажешь. Конечно, жизнь идет вперед и керосина сейчас, как говорится, днем с огнем не сыщешь". Но все-таки дальше "хозяйственного" переименование его не дошло: при этом (к) десятилетиями пропитывавшему всё запаху присоединилась прелесть всевозможных ароматов современной бытовой химии. И хотя это чуть ли не единственный магазин, оставшийся в переулках Арбата, положение, видимо, безвыходное. Или, может быть, вы вдруг пожелаете получить жилплощадь на его территории? Или отведать свежих булочек с его прилавков?

Гагаринский переулок соединяет Плотников, где мы с мамой живем, с Гоголевским бульваром. Этот бульвар - обычное место детского моего гулянья . Помню его и в осеннее время, когда мы с Машей Чегодаевой азартно собирали желтые листья, которыми были усеяны его дорожки. Но чаще вспоминаю зимой, или поздней осенью, или ранней весной - словом, когда добраться до него можно было "на Анюте", т.е. на санках, которые она тащила за толстую, мохнатую и почему-то всегда перекручивавшуюся веревку. Дорога туда, т.е. на бульвар, была легче - в основном подгору. Зато обратно!... О, как я был беспощаден: разлягусь на санках разомлевший после гуляния и только понукаю щуплую, склоненную книзу в непрерывном усилье, сгорбленную фигурку в деревенском, грубой шерсти платке и старом залатанном-перелатанном пальто: "Ну, что же ты встала? Вези, побыстрей вези!" Какой там побыстрей! Полозья то и дело скребут по твердому неровному льду или асфальту тротуара, а то и еще громогласней - по булыжникам мостовой. Да, барчонок советского времени - как это еще определишь?

Странно мне теперь попадать на улицу Рылеева (так переименован Гагаринский). Помню именно булыжники, помню старомодные, в разные стороны кренящиеся фонари, кажется, из газовых переделанные в электрические, помню нелепые, казалось, навеки вросшие в землю каменные тумбы или кое-где заменявшие их чугунные столбики со шляпками наподобие грибов. Помню сумерки, одевавшие все вокруг: возвращались-то мы обычно ранними зимними вечерами. "Надо же, - паниковала Анюта, - сейчас мать твоя вернется, обед ей подавай, а когда мне готовить? За одной картошкой два часа простояла !"

Теперь не то. Больше половины прежних домов отошли в небытие. Зато как-то ужасно самоуверенно и нахально выскочили из земли 9-ти этажные дома-шиши - один как другой все из палевого кирпича, аккуратнейшей кладки, с наисовременнейшей и наикомфортнейшей планировкой (квартира - этаж). Все это для элиты. Пешком она не хо-

дит, и поэтому на тротуарах пустынно. Зато чуть не на каждом перекрестке стоят мильтоны, регулируя движение черных лакированных "Волг" (тоже одна к одной), мчащихся на им лишь дозволенной скорости. Ну что же, не зря, видимо, Николай I повесил Рылеева, именем которого названо это странное подобие не то улицы, не то переулка...

## Наша комната

Как-то уже в году 1944-45-ом наш "учитель словесности" (пожалуй, это только сейчас пришедшее мне в голову определение наиболее соответствовало и облику его, и характеру обучения) Дмитрий Иванович Сухопрудский задал всему классу домашнее сочинение на тему "Моя комната". Я удостоился пятерки - думаю, главным образом за ту беспощадность, с которой описал все убожество нашей жилплощади в д.№ 13 по Плотникову переулку, что, наверное, вторгалось резким диссонансом во вполне благополучные интерьеры, описывавшиеся нашими еврейскими девочками. К сожалению, все сочинения он оставлял у себя, и я не могу воспользоваться здесь этим документальным свидетельством, так сказать, зарисовкой с натуры. Но зачем? Комната эта, в основном оставшаяся к концу войны такой же, как и в 30-х годах, во всех подробностях и сейчас стоит перед моими глазами. Конечно, из всех бесполезных глав и главок этих воспоминаний эта - самая бесполезная: кому какое дело, как расставлена была мебель в одной из комнат бесчисленных московских коммунальных квартир? Но нет, подождите. Чем больше прожито, тем больше убежденности, что все зависит от того, как посмотреть на тот или иной факт, пусть даже самого частного характера. А если, допустим, посмотреть так: все в той же комнате мы с мамой и Анютой жили до 1959 г., и к этому времени она не претерпела, да и не могла претерпеть из-за тесноты никаких существенных преобразований, - разве что необъятный круг моих интересов создавал все больший и больший беспорядок: в 1948 г. пришлось уставить купленный мне мамой к окончанию ЦМШ рояль, подвесить полку с

пластинками (а до чего же тяжелыми были они в те времена!) и каким-то образом втиснуть чудовищный по громоздкости, неуклюжести и грубости изготовления деревянный проигрыватель - нечто вроде кухонного стола на коротких ножках.

Между тем, если в 30-е годы мама была лишь членом Союза писателей, заведующей музеем Достоевского, заместителем заведующего отделом рукописей Ленинской библиотеки, секретарем Всесоюзной Пушкинской выставки (то же ведь немало?), в сороковые и пятидесятые годы стала доктором наук и старшим научным сотрудником Института мировой литературы, заведующим сектором текстологии, этого важного учреждения, получила премию АН СССР им.Белинского - всего не перечислишь. А теперь слушайте, как жила она, уже широкоизвестный, крупный ученый, до 1959 г., т.е. до 64-ех лет своих, лишь в это время переехав в выстроенную на собственные деньги кооперативную квартиру. Кстати, имел этот крупный ученый и сына-музыканта, который ухитрился (надо же!) еще жениться за пять лет до переезда, и все в той же комнате, хотя и непрописанные, жили и жена, и малолетняя дочка его.

Но прочь эти наслоения ума, к тому же ума недоброго - впору коротковолновым передачам, увы, так часто вещающим правду, да еще и не всю правду, ибо как ее увидишь, почувствуешь из прекрасного (а может, и вовсе не из такого уж прекрасного) "далека"? Все это ведь надуманно для оправдания памяти сердца, которому несказанно дорог каждый хромоногий стул, каждый обшарпанный угол стола, шкафа, кровати...

Итак, комната наша, площадью немного больше 18 м$^2$, была почти квадратной (что, говорят, обеспечивает большую вместимость). Единственное окно ее выходило на север или почти на север, так, что

только в самые длинные дни на полчаса-час что-то начинало светиться в ней отраженным подобием солнечного света. Уже позднее, в годы юности, особенно томительно-грустным, надрывающим сердце был для меня этот недолгий час, словно намек на где-то действительно существующее счастье, на мир, залитый животворными ослепительными солнечными лучами. Только намек... Правда, окно было широкое - почти во всю стену, а высота его... сейчас даже трудно представить это, ибо третье измерение, которым наделил архитектор все комнаты дома, было таким, о котором давно уже забыли трудящиеся: не менее, а может и более четырех метров.

В углу одной из стен, отходящих от окна, в противоположном ее конце была дверь в коридор, и это из нее появлялась Анюта, несущая дымящиеся кастрюли и сковородки, проделавшие перед этим длинный путь по коридору от кухни, находившейся в прямо противоположном конце квартиры. На косяке этой входной двери имелись зарубки: их делала мама каждые полгода моей жизни, заставляя стоять смирно и прижимая мою голову к дубовому дереву. Занятно было смотреть на них позднее, удивляясь, как неравномерен рост человека: то какие-нибудь полсантиметра, то чуть ли не пять сразу.

А теперь проделаем, мой друг, мой далекий детский двойник, путь от двери налево и вспомним все, что встретим там по пути. Только сразу стоит предупредить: одна комната была превращена как бы в две (голь на выдумки хитра!) при помощи массивной дубовой ширмы, а затем и приставленного к ней пианино: первая часть была, так сказать, столовой и кабинетом, вторая - спальней.

Итак, первым предметом был кухонный не то стол, не то шкаф - совершенно необходимый для тех самых кастрюль, сковородок и чайников, что прибывали с кухни, на время, когда для

них будет освобождено место на чайном столе. А освобождать его от горы самых посторонних предметов порою было ох как нелегко! Для того, чтобы дать представление об этом предмете меблировки, достаточно сказать, что казался он сработанным простым плотником и что профессия столяра не имела к его созданию, по видимости, решительно никакого отношения. К нему вплотную был приставлен диван, "фасадом" обращенный к чайному столу, старинному, "нечаевскому", с откидывающимися досками и выдвижными ножками - по одной с обеих сторон (такой конструкции я никогда больше не встречал). К дивану этому я мог бы по праву обратиться, перефразируя Чехова, - "многоуважаемый диван". Из всей обстановки комнаты это была, пожалуй, самая памятная, самая важная для меня вещь. На нем я играл, будучи не только малышом, о чем знаю лишь по рассказам (кстати, за тем же занятием созерцал я двадцать лет спустя и свою дочку Веру), но и мальчиком постарше, играл и один, и с Анютой, и с Юрой (с Машей мы всегда играли во все же более обширных апартаментах наших соседей за стеной - Гершензон-Чегодаевых). На нем я болел, когда выздоравливал или болезнь была легкой и я умолял не класть меня в мою детскую кровать, за отделявшие от всего окружающего ширмы. На нем усаживались все наши гости, а некоторые, если пребывание их у нас затягивалось, и спали. Но мало того: внутри дивана под сиденьем находилось очень вместительное помещение - в то время склад моих игрушек - тех, что по тем или иным причинам получали отставку, но все же не выбрасывались.

Но продолжим обход. В углу между диваном и окном стояла очень недурная, фанерованная красным деревом, чуть сужающаяся кверху этажерка, где также помещались мои игрушки, но уже поновее, а значит и более уважаемые хозяином. На этой этажерке устраивал я и "выставки", о которых, может быть, успею еще сказать особо. Перед

окном стоял мамин письменный стол – добротный дубовый с двумя тумбами и выдвижными ящиками в них. В то время им еще полноправно владела мама, которую после войны я все же начал оттеснять и с этой, столь необходимой ученому территории. Работала мама, сидя в кресле красного дерева, принадлежавшем к столь любимой ею эпохе начала XIX в. (стиль ампир); к нему мама относилась очень бережно, требуя того же от меня и Анюты.

Дальше, уже по следующей стене, стояли два "американских" шкафа, доставшихся маме от семьи Блоков, о которых она с тетей Лидой говорила всегда несколько таинственно, хотя, как я потом узнал, Блоки эти всего лишь эмигрировали вскоре после революции в Англию. Тем, кто незнаком с этим названием "американские" (а много ли осталось тех, кому оно знакомо?), поясню: это были шкафы, разбирающиеся на отдельные полки, так что число таких полок можно было варьировать по собственному усмотрению. Кроме того, оправленные в рамы стекла их не раздвигались, а откидывались вверх при помощи особых шарниров, помогающих им уходить в глубину шкафа. Много там было книг, но особенно празднично-нарядно глядели корешки "Истории искусств" Грабаря (Угорь Обмануилович Грóбарь, как его в шутку называли злые языки). Очень любил я и пятитомное иллюстрированное собрание Пушкина в издании Брокгауза и Ефрона. Но не буду отвлекаться. Дальше... вот дальше-то и начиналось то, что условно назвал я спальней, – пространство, отделенное ото всего остального ширмой. Был там старинный двухэтажный шкафчик под красное дерево. Точнее, так: на тумбочке стояло что-то миниатюрное, чему и название трудно подобрать, – может, будет яснее, если я скажу, что употреблялся этот крохотный шкафчик для домашней аптечки, меня же восхищал тем, что три узкие, толстые граненые стеклышка его, когда на них падал луч света, начинали сверкать разными тонами спектра. Стоило

только подвинуться чуть-чуть левее или правее, и вспыхивали то желтые, то красные, голубые, зеленые, лиловые язычки пламени. Удовлетворяя мое любопытство, маме пришлось давать мне пояснения из области физики и оптики, и я, хотя ничего и не понял, но больше к маме не приставал: для ребенка, находящегося в периоде бесконечных "почему ?," важно, в конце концов, получить ответ, каким бы непонятным сам по себе он ни был.

Дальше овальный столик, на котором стояли небольшой серебряный подносик и серебряный же подстаканник, а также находились некоторые предметы, предназначенные для шитья, - большой мастерицей была мама и по части рукоделья.

И, наконец, последняя стена, начинающаяся массивной деревянной (тоже под красное дерево) маминой кроватью, к которой углом примыкала моя маленькая, детская, стоящая вдоль ширмы. Что же еще? Ну конечно, наш спаситель: весьма неказистый, из простой морской сосны, но необычайно вместительный трехстворчатый шкаф, кажется, переданный маме М.О.Гершензоном, - основное вместилище маминого уже к тому времени обширного архива и многих, многих книг. Хотя по высоте своей он едва ли встал бы в какую-нибудь современную квартиру, но со временем на него был водружен еще один самодельный шкаф с раздвигающимися створками - все это уходящее под потолок сооружение получило у нас прозвище "бегемота".

Ну вот мы и оказались снова у двери с зарубками, обозначающими возрастание Димы Нечаева, ведущей, по выражению одного талантливого поэта, но, увы, очень "среднего" человека," в иную жизнь, в иные времена". Но какой же прочностью обладали все эти старинные либо просто старые предметы нашего комнатного быта: почти все они в том или ином виде сохранились до сих пор, и, смотря на кресло "ампир",

в котором я еще недавно сидел, тумбочку с аптечкой, что стояла возле меня, овальный столик, зеркало, "американские шкафы", переменившие лишь место жительства, я мог бы, кажется, забыть об утекшем полстолетии. Но забыть этого не дано.Более того: кажется, даже все эти вещи, с которыми неразрывно слито мое детство, стали чем-то совсем иным. Да, материя осталась, но разве в ней дело? Разве не решает все восприятие ее, отношение к ней духовного начала - основы человеческого бытия? Вот почему все эти прежние предметы кажутся мне сейчас какими-то фальшивыми двойниками, дубликатами, подделками своих подлинных прототипов, которые все остались в уже несуществующем доме № I3 по ставшему неузнаваемым Плотникову переулку, по ту сторону всех многолетних "заблуждений души" - там, где по -прежнему живы осиянные благодарной памятью сердца "впечатленья первоначальных чистых дней"...